

18+

Айкын Миронович Вельский



ЭВФЕМИЯ

Айкын Вельский

Эвфемия

<https://litres.ru/74154983>

ISBN 9785007022873

Аннотация

Как доказать свою подлинность, когда весь мир состоит из симулякров? Как услышать звук, который может стать настоящим? Что если звук существует — но со своей ценой?

Люциан играет, мир любит, никто не слышит.

Tout est littéral.

Книга содержит нецензурную брань.

Содержание

ГЛАВА ПЕРВА «Я»	5
ГЛАВА ВТОРА «Я»	10
ГЛАВА ТРЕТЬ «Я»	17
ГЛАВА ЧЕТВЕРТА «Я»	27
ГЛАВА ПЯТА «Я»	32
ГЛАВА ШЕСТА «Я»	39
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Эвфемия

Айкын Миронович Вельский

© Айкын Миронович Вельский, 2026

ISBN 978-5-0070-2287-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Что ты заплатишь за получение настоящего звука?

*Двадцать шестая квартира,
я скучаю.*

ГЛАВА ПЕРВА «Я»

Огромная публика стояла передо мной. Их аплодисменты нарастали, как затянута нота, и каждый хлопок отдавался эхом под сводами зала. Прожекторы били прямо в глаза, прожигая сетчатку, и я едва различал лица — только вспышки камер, поднятые руки, экраны телефонов.

Внутри было странное смешение радости и тяжести. Эти люди купили билеты ради меня. Ради музыки — или ради образа? А где граница? Может, музыка и есть тот последний образ, который я еще могу на себя натянуть, чтобы меня увидели? Чтобы моя внутренняя тишина хоть как-то отозвалась в пространстве? Я не знал, что из этого пугало больше.

Классический костюм сидел слишком плотно, будто я надел не одежду, а роль. Пиджак стягивал плечи, туфли, отполированные до зеркального блеска, отражали свет прожекторов. Контрастный галстук казался практически вызовом — как напоминание, что я должен отличаться, быть заметным, быть резким на фоне остальных. Единственное, в чём я был уверен: моя музыка ощущалась живой.

Я сел на стул из чёрной кожи и выпрямился, удерживая спину так ровно, словно меня вымеряли линейкой. В кадре нельзя было позволить себе перекося: свет должен резать скулы, волосы — блестеть, борода гуще. Я поймал себя на мысли, что стремлюсь к идеальному углу, к выверенной гео-

метрии тела. Возможно, слишком.

Пианино передо мной не было просто чёрным. Его поверхность уходила в глубокий контраст — белое и чёрное, как инь и ян. Новый дизайн. Эксклюзив. Для меня.

Я коснулся клавиш — и замер. Они не были похожи на привычное дерево: холодные, плотные, почти каменные. Я ожидал тяжести, но, когда взглянул на ноты и нажал первую клавишу, звук оказался неожиданно лёгким. Высокие ноты падали, как перья, едва касаясь воздуха. Низкие — глухо, будто металл ударялся о глубину зала.

Это произведение — «Лёгкость тяжёлых нот» — давало мне баланс между нотами. Вся моя жизнь и есть лёгкость тяжёлых нот. Лёгкость аплодисментов при тяжести пустоты после. Лёгкость касания клавиш при тяжести ожиданий. Лёгкость вранья отцу «Встреча» при тяжести правды, которую мы оба носим в себе, не смея выдохнуть.

Когда я касался клавиш, границы стирались: мой разум и само пламя чувств слились в едином, неразрывном дыхании, *au sens propre*. [1]

Я посматриваю на ноты, чтобы не забыть, хотя мне кажется, что я делаю вид, будто чересчур стараюсь.

По спине прополз ледяной муравейник, когда я дошёл до части, где появляются неидеальные ноты. В этом было что-то странное: нестабильные ноты становились стабильными. Зал, который до этого слушал спонтанно и невнимательно, в этот момент замер. Это не давало покоя. Им оставалось

лишь исследовать этот резонанс.

Клавиши были чистыми. Я люблюсь ими и играю. Люди искали анти-классику — не в том смысле, что классика обесценилась, а в том, что иногда нужно намеренно впустить хаос, чтобы заполнить внимание.

Я видел, как в первом ряду зала сидели критики, и уже осознанно понимал, что они будут говорить. Они были одеты официально, видно было, что тщательно выбирали костюмы. В первом ряду сидела женщина с длинными рыжими волосами и голубыми глазами, которые казались мне пустым морем. На ней было контрастное синее, почти океанское платье. Она слушала внимательно.

Продолжая показывать новые комбинации нот, я заметил и мужчину — в заметном оранжевом костюме, с едва намечившейся залысиной и в очках. Он смотрел любознательно, словно анализировал.

Когда я играл, мне представлялись цвета — коричневые и металлические. Ноты будто спорили между собой, не давая одной взять верх. Пол из линолеума казался неестественно ярким.

Мои руки были тяжелыми. Пальцы слепились друг с другом из-за того, что ноты нажимались много раз, и каждый палец якобы разрывался. Они не дрожали, держались как манипулятор, чтобы сыграть идеально. Но руки начали потеть, и клавиши стали маслянистыми. Я соскальзывал с них и нечаянно взял одну ноту неправильно.

Я не остановился. Не посмотрел на зал и не посмотрел на людей в первом ряду. Я смотрел на пол и пытался найти грязь в этом полу, продолжая играть. Мой костюм начал намокать. Соль осыпалась на плечи, будто не от меня, а от той женщины с голубыми глазами и океанским платьем.

Внезапно зал стал настолько тихим, будто даже пустота не могла повлиять на эту тишину. Я начал слушать своё сердцебиение — мой темп искажался. Я чувствовал, как под мышками появляется влага.

Но я всё-таки посмотрел на зал, и мне казалось, что я контролирую всё передо мной. Мои эмоции начали отражаться в этих клавишах. Слышалось эхо нот, аккорды зазвучали сильно — будто камень, брошенный в глубокий колодезь.

Прожекторы начали светить синим, морским цветом. Пол стал ванильным. Я понял — началась заключительная часть. Ноты пошли как по маслу.

Я увлёкся настолько, что перестал слышать зал. Голова сама начала двигаться в такт, будто тело знало продолжение раньше меня.

Я нажал педаль до конца, и звук стал тянуться, словно я удерживал его не ногой, а собой.

Остались последние строки нот. Моё тело уже знало, что дальше — аплодисменты, первый ряд, мои родители в блестящих костюмах, жёлто-белый свет. Всё должно было сойтись. Этот финал должен был быть феноменальным.

Я отдался порыву, и на мгновение мне показалось, что

клавиши ведут меня сами. Последний аккорд пришёл одновременно с потом на лбу. Я нажал последние ноты почти аристократично — и встал, посмотрев в зал.

Люди в кожаных коричневых креслах смотрели на меня как одно целое — будто большая голова, собранная из маленьких людей. Она не реагировала.

Моё тело начало рассыпаться.

Тишина. Женщина с голубыми глазами продолжала смотреть. Мужчина в очках не двигался. Даже мои родители сидели неподвижно. Я не понимал, что должно случиться. Крах? Разрыв?

И вдруг мужчина в классической униформе встал и начал аплодировать. Медленно. Хлоп. Хлоп. Его аплодисменты звучали громче всего зала.

Потом это произошло как цепная реакция. Люди поднялись и начали хлопать стоя.

Я почувствовал не восторг — а усталое облегчение. Музыка не была напрасной. Искусство стало частью моей жизни. И частью моей души.

ГЛАВА ВТОРА «Я»

Дверь захлопнулась. Тот зал, в котором только что зати-хали ноты — до сих пор держится эхо в стенах. Но в гри-мёрке было достаточно тихо. Иногда любил просто побыть в тишине.

Тут пол действительно был линолеум. Кресло — кожаное, растрёпанное, с красными оттенками. Пальцы, всё ещё хра-нившие холод клавиш, не слушались, пока я расстегивал пу-говицы, пытаясь выбраться из этого «паркетного» костюма

Томас всегда мог подбодрить меня перед выходом. Но се-годня его не было.

В этой душной сауне хотелось поскорее остаться одному.

Иногда я думал, что после того, как получаешь славу, сра-зу станешь успешным. А на самом деле я просто стал видеть намного острее. Сейчас мир начал восприниматься не так, как в подростковом возрасте. Я вспомнил человека, которо-му было всё равно, умирать сегодня или завтра, и который смотрел на небо, ожидая выстрела.

Иногда принимать — это лучшее решение.

В помещении становилось теснее, и воздух чувствовался так, будто кто-то тут тренировался. Неприятно. Но именно свой собственный запах — это лучше для нас самих. Интере-сно, почему так? Ведь мы люди. И говорят, что мы одина-ковые.

Помню слова Томаса: «Зачем они тебе вообще нужны? Через год или пару месяцев мы просто забудем друг друга. Сейчас мы притворяемся, будто знаем друг о друге, а на самом деле видим лишь внешние стороны».

Я тогда не понял. Думал, он философствует от скуки. Но сейчас, в этой гримёрке, где воздух стоял как застывший студень, я вдруг вспомнил его лицо в тот вечер. Мы сидели на подоконнике его съёмной квартиры, он смотрел на заходящее солнце и говорил это не мне. Он говорил это себе. Как молитву. Или как приговор. Его пальцы тогда выбивали на подоконнике дробь — ту самую, что сейчас я слышу в голове. Три удара. Пауза. Два. Он уже тогда готовился исчезнуть. Просто я не хотел этого замечать. У меня в кармане были часы моего учителя — всегда помогали, даже когда было сложно. Может, они и помогли в концерте. Хоть я и не верю в это, а просто надеюсь.

Я уже знаю, что будет дальше. Посты, лайки, комментарии и поздравления. Но зачем мне это? Нужно для заработка, а я хотел просто показать своё произведение. Наверное, судьба такая.

— Тебя зовут там! Одевайся! — резко открыл дверь человек из администрации. Я стоял полностью голым. Вот оно — то самое принятие в действии. Никакого стыда, только холодный кафель под ногами и чей-то крик.

— Да! Да! Я иду, закрой дверь! — ответил я, натягивая брюки и хватая часы.

Быстро надел свою обычную одежду. Открыл дверь.

Передо мной в полумраке стояло множество инструментов. Разных. Разнообразных. Скрипка. Гитара. Их будто разбросали и оставили тут гнить. Сейчас такой век — электронное доминирует над классическим. Ничего страшного. Их время ещё вернётся.

Меня звали на встречу. Я думал, может, это критики хотят дать отзыв.

Когда я шёл по коридору, передо мной возникла она. В тёмно-голубом платье и с теми же океанскими глазами. Она шла куда-то и резко остановилась, увидев меня.

— Вы очень хорошо сыграли, — сказала она неожиданно.

— Оу... Благодарю вас! Чудесное платье.

— А у вас руки такие же чудесные, — она чуть улыбнулась, глядя прямо в глаза.

И мы разошлись. Её «очень хорошо» прозвучало как узнавание. Словно она видела не игру, а ту самую грань, где заканчивается нотный стан и начинается пропасть. Или мне просто отчаянно хотелось в это верить.

Стены коридора были желтовато-белого оттенка. Будто луч солнца из окна светил сюда как последняя надежда.

Я пришёл туда, куда меня позвали.

На стенах, в тонких чёрных рамах, стояли старинные анатомические гравюры. Я узнал одну — «Руки молящегося» Дюрера. Она висела прямо над головой Сильвана. В этом свете прожектора-лампы тени от пальцев на бумаге казались

глубокими, как пропасти. Эти руки были сложены в молитве, но сейчас они выглядели так, будто что-то сжимали. Или душили.

— Садись, Люциан, — сказал он тихо, сидя в кресле в своей безупречной рубашке и галстукe. Он сегодня был в новом галстукe — узор «ёлочка», такой же, как у отца на той старой фотографии, где он ещё улыбался. Странное совпадение. Или намёк?

— Ладно.

— Сегодня был хороший подвиг. Да. Но не прям достаточно, — отчеканил он. Его палец с идеально подстриженным ногтем начал выбивать на стекле стола немую дробь: три быстрых удара, пауза, ещё два. Шифр, который я так и не расшифровал за все годы. «Доходы падают»? «Ты просрочил»? «Новый проект»?

— Почему? Зал был в восторге от того, что было. В чём проблема?

Мне кажется, он перестал в этот момент говорить как мотивационный спикер. Или кто-то сказал ему что-то серьёзное.

— Проблема в том, что доходы были не такими. Они сказали, что не получили то, за что платили. Да, я понимаю тебя. Но твоё продвижение классики стало не таким... безупречным. Мне кажется, сейчас общество хочет чего-то лучше и ярче. Люциан, пойми, мир излечился от метафизики. «Душа», «Истина», «Боль» — это непроверяемые данные, му-

сорные переменные. Мы работаем с оптимизацией впечатления. Боль, которую ты вкладываешь в ноты, должна быть элегантной, дизайнерской. Как стейк в дорогом ресторане: ты же не хочешь видеть мычащую корову и запах крови? Ты хочешь красивый кусок на тарелке. Сделай из своей боли — крЯЯасивое блюдо. Или мы найдем того, кто сделает.

Заметил новую деталь на его полке: стояла маленькая фотография в серебряной рамке, приткнутая к монитору так, чтобы её было видно только с его стороны. Женщина. Точно не знаю эту женщину, иногда людям важно что-то скрывать. Когда он обсуждал, я видел — он махал руками, и я увидел след кольца, может, и обручального. Он снял, но не знаю, зачем. Я отвлекся чуть и ответил:

— Ага. И обесценивание классики. Неплохо, Сильван.

— Пойми, это нормально. Но нужно новое. Та, только что... ты наверняка видел. Девушка в голубом платье. Она сказала единственное: что ты «нормально» выступил. А другие критики — заходились не так, как она.

— Мне нужно идти. Сегодня у меня есть ещё встреча. Извини, но сегодня не можем поговорить долго.

Я начал выходить. И он, как эхо:

— Я напишу тебе на почту, что нужно создать! Или... критерии!

Я ему подмигнул. Будто это была настоящая эмоция.

Он говорил о доходе. Я думал о звуке. Мы оба были правы. Он, потому что считал вложения. Я, потому что верил,

что вложил в эти клавиши часть души. И вот результат: его цифры не сошлись. Моя душа оказалась неликвидным активом.

Нужно было направляться домой, уйти от публики. Именно этого я и хотел. Может, дома будет лучше: отдыхать. Не быть роботом, как, например, здесь.

Передо мной вышел отец, направляясь ко мне. Или к кабинету. Он шёл с такой походкой, что казалось — он снимается в кино. Я всегда узнавал его по звуку шагов — лёгкий скрип правой подошвы, которую он так и не удосужился починить. Этот скрип был саундтреком моего детства: он приближался к двери моей комнаты, замирал... и уходил. Он, казалось, хотел не обращать внимания и просто уйти. Но всё-таки остановился и сказал:

— Так держать! Молодец! — импульсом, не глядя.

Я не успел ответить ему ни слова. Он так спешил зайти в кабинет — или притворялся, или нашёл повод, как и я, обманув Сильвана насчёт встречи.

Он бросил мне короткое «Молодец» и ушел. В этот момент я закрыл глаза и на мгновение представил, что он не уходит, а кладет руку мне на плечо, и мы идем по залитому солнцу полю, обсуждая мелодию. Я почувствовал тепло его ладони через пиджак — так явно, что почти поверил. Но открыл глаза: коридор был пуст и пах пылью.

Теперь коридор не казался таким ярким и жёлтым. Он стал красно-оранжевого оттенка, и я понял, что это уже за-

кат. Инструменты, которые лежали в полумраке, теперь полностью стали красными, как кровь.

Я взял вещи и ушёл домой.

ГЛАВА ТРЕТЬ «Я»

Осталась последняя улица. Внезапно слышу, как кто-то на каблуках начинает сильно топать; не понимаю, кто именно это делает. Вдруг кто-то трогает мои плечи, и я резко оборачиваюсь.

— Оу! Люциан, я тебя знаю! — резко сказала она. На ней были туфли на черном каблуке и красное платье.

— Да, чем-то помочь вам?

— Вы не знаете меня? Я же в рекламе снималась, помните?

Вспомнил её: она супермодель, но, кажется, только что вышла с тренировки. Вся потная.

— Я потеряла работу... — продолжала она отчаянным голосом, — меня уволили! Я единственная модель, которая держит весь рынок, лицо, которое знают все... Я не знаю, что делать.

Она резко начала плакать и присела на ближайшую скамейку.

— Мне жаль. Могу ли я чем-то помочь? — повторил я.

— Они заменили меня! На какую-то другую модель. Представьте, это был манекен, littéralement манекен, а не живой человек! Я очень устала.

— Почему вы одна? Где ваша машина?

— Забрали.

Я не знаю, что делать.

— Может, мне заказать для вас такси?

Она неожиданно просто обняла меня, сразу доверившись. От неё пахнуло дорогостоящим парфюмом, и я почувствовал её шею, которая была влажной. Оттолкнул чуть-чуть.

Мы ждали, пока приедет машина. Но она вдруг задумалась и сказала:

— Нет... не стоит тратить деньги. Я лучше сама поеду на автобусе.

И зачем тогда я потратил деньги? И тем более — мы тут обнимались. Она ушла холодно, ничего не объясняя, на остановку, где на плакате красовалось её собственное лицо.

Искал ключи от квартиры. В соседних комнатах слышалось, как они поставили громкую музыку и веселятся. Мои руки были красными и даже чуть поцарапаны, и, кажется, я даже не заметил, как начала выступать кровь. Мир стал слишком отполированным. Люди — как те зеркальные туфли: отражают свет, но не имеют собственного. Они хотят, чтобы я был алгоритмом, который выдает приятный звук в обмен на их аплодисменты. Но я создам другой код. Я найду такую комбинацию нот, которая взламывает их черепные коробки, как ржавый лом. Не обычная классика. Это будет анти-жизнь, возвращающая их к реальности. Мой рояль — это пульт управления их скрытой болью. С этой мыслью я наконец нащупал металл ключа и открыл дверь. Надеюсь, что дома никого нет.

А там — моя мать. Сидит в платье, видно, что сразу пришла после моего выступления.

— Как вы вошли в мою квартиру? Вроде я не давал вам ключи.

— Я пришла поговорить с тобой, — ответила она, держа паузы, как между нотами.

Квартира была не большая, просто скромная. У меня была своя библиотека. И стояли рояли — у меня их было два.

— Твой отец остался там, — разорвала тишину.

— Я не понимаю... Что-то случилось? Или я что-то сделал?

— Мне кажется, тебе стоит подумать о смене работы.

— Что? Вы серьёзно? Или?..

— Я поздравляю тебя. С тем, как ты вышел, — смотрела она не на меня, а на картинку на стене. И на рояли.

— Подождите, мам, секунду. У меня пальцы кровоточат.

— Из-за чего?

— Думаю, из-за клавиш. Или поцарапался.

— Вот. Из-за твоего пианино теперь и ты ходишь раненый. Мы всегда говорили тебе, что это работа не даёт тебе денег и вообще средств к существованию!

— Мы этот разговор уже проходили. Много лет назад, — ответил я, меняя свой тон.

— Оу! Ты теперь у нас будешь решать, да?

Я потерял ощущение предназначения вещей. Мне кажется, будто передо мной лежит нечто одинаковое, лишённое

всяких различий. Мир стал похож на одну бесконечную, плоскую ноту, в которой нет ни обертонов, ни ритма. Раньше яркий цвет вызывал жгучее любопытство... А сейчас всё видится в сером свете. Неужели и я стал как все?

А ведь когда-то, возвращаясь домой, я мог плакать и смеяться одновременно — над людьми, над их «великими» планами на завтра, над самим собой. Я хохотал до рези в животе, а потом замолкал в пустой прихожей. Теперь даже этот смех кажется чужим.

Я искал аптечку, пока она пыталась что-то рассказывать. Уже привык, что она всегда говорила: это рискованная работа или даже не работа вовсе. Я применил своё главное оружие — молчание. Наконец-то нашёл бинт и начал обматывать рану.

— ...нужно более безопасную работу... Пойми, сын, я это для того, чтобы ты мог обеспечить себя.

Я смотрел на неё и понимал: здесь тоже не будет тишины. Для меня искусство — это воздух. То, чем дышу между одним днём и другим. А она предлагает перестать дышать, потому что воздух — не прибыльный товар. Бросить музыку — всё равно что бросить собственного ребёнка в колодезь. Только колодезь этот — во мне. И падать в него буду я сам.

— Но, мам, вы же видели! Сколько людей, вся публика смотрела и поддерживала! Сколько уже лет я занимаюсь этим...

— И никакой пользы, — резануло она, и её слова вошли,

как скальпель. Она произнесла эту фразу с той же интонацией, с какой двадцать лет назад говорила отцу: «И никакого толку от этого гаража». Та же усталая опустошённость в конце. Я вдруг понял, что для неё мир делится не на талантливых и бездарных, а на «полезное» и «бесполезное». И мы с отцом, каждый по-своему, давно попали во вторую категорию.

В этот миг я перестал видеть её лицо. Мне представилось, что каждое её слово — это тяжёлая чёрная птица с острым клювом. Они влетали в комнату через закрытое окно, с глухим стуком бились о крышку рояля и рассыпались на мелкие клочки нотной бумаги, засыпая пол белым снегом. Я смотрел на этот воображаемый сугроб и ждал, когда птицы закончатся. В моей голове их щебет превращался в какофонию, которую я когда-нибудь превращу в финал новой пьесы.

Я сжал забинтованную ладонь. Боль была чистой, практически честной. Единственной реальной вещью за весь вечер. В отличие от аплодисментов. В отличие от её слов. Польза была здесь — в этой боли. В этом тихом бунте плоти против всего мира.

Иногда представлял, что хочу просто сбежать. Может, собрать вещи и уехать за горы. Зная, что я там никогда не поднимусь. И так же — не спущусь.

— Сегодня у меня встреча, я должен уйти, — сказал я так же, как говорил Сильвану.

Я вышел на улицу. Вечерний воздух был холодным и ни

к чему не обязывающим. Встречи не было. Я просто шёл, а ноги сами несли меня в музыкальную академию Валериус. Единственное место, которое могло стать тихим для меня. Сейчас, куда я ни иду, сразу начинаю попадать в апокалипсис. Лучше быть там, где я и родился.

Улица была освещена большими ванильными фонарями. От них отражались листья деревьев, создавая узор на асфальте. Вдруг в кармане завибрировал телефон. Сообщение. «Твой концерт был самым скучным за сезон». Отправил Томас. Слова на экране расплывались, превращаясь в приговор: скучно. Самое страшное слово для того, кто только что вывернул себя наизнанку. Я не злился на него. В отличие от тех, кто лжёт мне, чтобы скрыть истину. Лучше горькая правда, чем сладкая иллюзия. Заметил, что у каждого из моих близких — уникальный голос. У отца рубленные, как топор, фразы. У матери голос, что тянет каждую клавишу слишком долго, до фальши. У Валериус точный, официальный, будто метроном. Будто они живые партитуры, которые я разучил наизусть и оттого перестал слышать.

Я зашёл в свой блог, чтобы запостить что-то — объяснить, почему так вышло. Остановился перед тем, как нажать кнопку «Опубликовать». Подумал, может, просто написать, что всё хорошо? Кому сейчас нужна истина в этом электронном мире, где каждый может найти что угодно и тут же это забыть? Сейчас такой век: у нас есть слова, но мы не хотим понимать их. Люди слышат только то, что хотят услышать.

В моём прошлом посте было написано: «Выступление начинается». В комментариях писали «удачи» и «мы с тобой». А если сейчас написать правду, они же разозлятся. Лучше просто не писать.

Кажется, люди довели создание масок до автоматизма. Раньше притворяться было трудно — губы слипались от фальшивых слов, в глазах стоял туман усилия. Теперь это рефлекс. Идентичность меняется, как настройка профиля: пара кликов, и ты уже другой человек. Надел аватар уверенности — и пошёл в мир. Снял его вечером, повесил в цифровой шкаф рядом с аватаром «уставший сын» и «надёжный коллега». А настоящее лицо стало чем-то вроде нижнего белья — необходимым, но стыдным, неприличным для показа. Его выставлять нельзя. Его даже самому на себя смотреть неловко.

Проходя мимо расклеенных афиш, я поймал обрывок разговора: «...да эта классика — она такая стабильная, скучная стабильность». Мой собственный портрет с афиши смотрел на меня пустыми, отполированными до глянца глазами. Да, я старался. Я старался быть талантливым, а не стабильным. Но, видимо, мир заказывал стабильность.

Валериус всегда учил меня.

Здание было компактным. Не таким большим и не таким маленьким. Достаточным. Как баланс.

Меня пропустили через охранный пост. Тот охранник смотрел на меня так, будто я вёз бомбу.

Коридоры казались бесконечно длинными, и в окнах уже не было никакого свечения — просто ничего. Кабинет Валериус. Дверь открылась, и звук отдался, как крик.

Он сидел в своём кресле. Справа стояли книжные полки, а слева была дверь, ведущая к пианино. Но сейчас не об этом.

Я вспомнил, как мы познакомились. Как я впервые влюбился в музыку. Тогда его кабинет был соседним, а я играл на фортепиано. Познакомились прямо в школе. Он всегда надевал свой лаймовый костюм и галстук, который выделялся тёмно-синим цветом. Он был как метроном, вбивающий в меня ритм. Но однажды, когда я ушёл, забыв ноты, я вернулся и застал его в пустом классе. Он не играл. Он сидел за роялем, положив голову на крышку, обхватив её руками. И так тихо, еле слышно, покачивался из стороны в сторону, будто укачивал огромного, чёрного, немного ребёнка. Я тогда не понял. Теперь — кажется, начинаю.

Нажимая клавиши тогда, я чувствовал, будто за спиной кто-то стоит. Или держит меня. Странное ощущение. Зал был средним, и эхо неплохо так отдавалось. Перед фортепиано стояли пустые кресла, и я представлял, как они заполняются, а я играю. Когда я нажимал на педаль, казалось, будто открываю другой мир. И звук был глубоким.

Когда я погружался в это воображение, он приходил и начинал высказывать критику.

— Нет, так не пойдёт. Тебе не нужно много держать педаль. — Он был как метроном, вбивающий в меня ритм.

— Мне кажется, ты только начинаешь, да?

— Ага.

— Ты играешь, Люциан, как будто хочешь обрушить стены. Но искусство — не разрушение. Это поиск трещины в стене, через которую виден свет.

Я слегка улыбнулся. Казалось, я сам добился умения играть — ведь большую часть времени это были повторение и одержимость. Но именно он дал мне базовые знания.

— Это нота «до». Понял?

Он нажал на клавишу и сказал, что нужно запоминать не только мышцами, но и слухом. Иногда мы пили кофе. Его кабинет ассоциировался у меня с кофе и коричневым деревом. Как всегда.

— Здравствуй, Люциан! — вдруг он вернул меня в реальность. Велел сесть.

Кресло было удобным. Не такое, как у Сильвана. Не такое, как у меня дома. Напротив, сидел он — со своей лысиной и очками, которые держались на пиджаке.

— Зачем ты пришёл? Сейчас уже поздно, я собирался уходить.

— Можно поговорить? На минуту. Пожалуйста.

— Ладно... Я знаю, Люциан, как ты сыграл сегодня. Это было феноменально, на самом деле. Но, знаешь, никто не оценил твою работу.

— Вы прочитали на сайте, да?

— Да. Там вся информация о тебе. Откуда, вот интерес-

но? Ведь ты не болтаешь кому попало, тем более журналистам.

— Я тоже не помню... — Я задумался на секунду и понял: однажды Сильван спрашивал о моих данных.

— Общество начало войну против музыки. Все перестали слушать живую музыку. А даже если покупали — сразу им что-то не нравилось. Знаешь, Люциан, они просто не хотят стабильности. Они требуют не скуки, как они думают, а чего-то иного. Чего никто не знает.

В этот момент мне послышалось, будто его голос начал звучать как нота «до». Не просто звук — а вибрация, исходящая из самой глубины комнаты, из трещин в паркете, из древесины старого рояля. Базовая, фундаментальная нота. И будто он один держал её темп на пустой октаве, в то время как весь остальной мир сорвался в какофонию.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТА «Я»

Я рос один. Не было родственников и братьев. Не то чтобы я был непривлекательным, просто оставался чистым, как нетронутый лист. Когда другие заводили первые интимные связи, у меня начался роман с творением. Любил ходить с замком вместо рта — слова были ключами, которые я никому не отдавал. До сих пор не понимаю этих драм: как можно изменить, а потом ходить, будто ничего не было? Они ходят, красятся, наносят слой за слоем, делая из себя витрину, — и всё для того, чтобы кто-то захотел заглянуть внутрь. А внутри — та же пустая витрина. Или свалка. Или зеркало, в котором гость увидит только самого себя. В этом весь цирк. Меня с детства учили быть самостоятельным, не зависеть ни от кого. Мать, наверное, не зря беспокоится. Она просто хочет, чтобы я жил как все. Плыл по течению. Меньше риска.

На самом деле отец не был так уж против моего творчества. Он просто присоединялся к своей жене — и вместе они давили. Я не только искал себя в творчестве. Я пробовал разные сферы, чтобы понять, на что гожусь. Понравилось — занимался. Разочаровался — бросал. Вот почему она так переживает.

Но музыка оказалась иной. После того как я начал сочинять, бросить её стало невозможно. Она вошла в плоть.

Я думал, когда человеку достигает взрослого возраста, то

он изменится. А на самом деле он тот же самый ребёнок, что и был. Всегда. Просто ему дали прозвище «взрослый» и обязанность — нести ответственность за всё. Есть люди-квие-тисты, которые думают, что не должны её брать. Тогда кто? Если собственную жизнь нельзя удержать в руках, как держат ноту — с дрожью, но с пониманием, что она твоя, — то зачем тогда вообще эти руки?

Любил ходить в горы. Самые прекрасные места на земле. Поднимаешься на высоту, смотришь на город внизу — и будто вырастаешь сам. Это было лучшее, что у меня было. А сейчас смотришь на людей и видишь: все стали свободны. Делают что хотят. Только я почему-то остался в той же клетке. И, кажется, уже не хочу из неё выходить.

Я помню одну ночь. Мы сидели на крыше его дома, смотрели на город, и он вдруг спросил: «Ты когда-нибудь хотел стать кем-то другим? Не собой?» Я тогда сказал: «Нет». А он: «А я хочу. Каждый день. Просыпаюсь и думаю: может, сегодня получится? Может, я наконец проснусь кем-то, кто знает, как жить». Я засмеялся. Подумал, он шутит. А он не смеялся. Смотрел на огни внизу и молчал. Может, если бы я тогда спросил: «Кем именно?», — он бы сказал. Тогда он удивлялся тому, как его младшие двоюродные братья сказали ему:

— Ты кем хочешь стать в будущем?

Он спросил их, хотя наверняка знал, что в таком маленьком возрасте думают только об играх.

— Хочу быть блогером.

«Интересно, о чем он будет снимать?» — рассказывает Томас. Очередь пришла ко второму младшему брату.

— А ты кем хочешь?

— Я не хочу быть кем-то, хочу быть просто человеком.

Он никогда не принимает это всерьез, и однажды мечтал стать бессмертным. Я говорил, что в конечности есть смысл. Но он не придал этому значения.

— Как думаешь, почему люди сейчас стараются что-то доказать? — всегда так начинал он. Он читал Шопенгауэра — о том, что воля даёт стимул к знанию. Может, моя воля прикована к музыке, как к клетке. И она не может выйти. Или — уже не хочет. Наши разговоры были бесконечными и по-своему идеальными.

Я иногда мечтал, чтобы у меня был старший брат.

— Знаешь, я заметил, что у тебя есть свой фильтр. Ты людей для себя зря не выбираешь. И не просто так. Это твоя защита от грязных людей? Или ты хочешь спрятаться?

Я смотрел на него, на его умные, безжалостные глаза, которые видели слишком много. Он был единственным, кто мог задать такой вопрос. Не мать с её «обеспечь себя», не отец с молчаливым осуждением, а он — человек, который понимал цену тишины между словами.

— Это не обычный фильтр. Это та самая редакция. Я вычёркиваю из текста жизни всё, что звучит фальшиво. Остаются единицы. Иногда никого. Чаще всего — я сам. А пря-

таться... От чего? От того, чего нет? От их пустых витрин и шума вместо смысла? Нет, Томас. Я не прячусь. Я просто отказываюсь жить в плохом переводе.

Он был открытым — в отличие от меня. Занимался любовью. Творил. Ходил куда попало.

А я самоконтроль. Каждый мой шаг выверен, как нота в партитуре. Иногда мне кажется, надо потерять всё — деньги, связи, этот проклятый самоконтроль — чтобы наконец стать свободным. Главное — не потерять себя. А где грань? Где заканчивается контроль и начинается та самая свобода? В беспорядке аккордов? В крике, который не вписывается в такт?

Может, не зря я ему открылся. Ведь это баланс. Если замкнутый будет говорить с замкнутым — они просто замолчат навсегда. Если открытый — с открытым, никто не станет слушать, каждый будет выкрикивать свой монолог. Он был тем самым переводчиком — с моего тихого языка одиночества на шумный диалект мира. Вот почему я его пропустил.

В этом мире все одиноки. Каждый верит, что имеет особый приоритет — что его понимают, что его слышат. Но человек — требовательное существо: он ждёт от других подтверждения, тепла, внимания. И когда не получает этого, сразу рождаются обида и замкнутость. Так рушится мост между двумя мирами, которые могли бы соединиться.

Однажды он говорил, что у него было много девушек. Интересно, он принимал меня как есть. Он тоже не любил ста-

бильности. Скуку. Он желал, чтобы я нашёл хоть одну — «может, будет достойная», — говорил он. После того как он расстался, он чувствовал себя опустошённым и понимал, что всё это был белый шум.

А здесь, в кабинете, шум был самым громким. Беззвучным и густым. Воздух загустел. Моё тело начало потеть от нехватки воздуха. Не понимал, как он сидит в своём пиджаке, не потев. Передо мной — деревянный стол, и я начал пальцами выбивать по нему тихий, навязчивый ритм. Кажется, он смотрит на мою руку.

Он поднялся. Его рост был невысоким, но, когда он встал во весь свой невеликий рост, его тень на стене вздыбилась, огромная и искажённая, поглотив пол-кабинета. И скользнув взглядом по моей одежде, он сказал:

— Уже поздно. Нужно идти. И тебе также. — Его лицо было усталым, в морщинах, но с мудрыми, будто всё уже познавшими, глазами.

ГЛАВА ПЯТА«Я»

Квартира пуста. Оранжево-ванильный свет лампочки вытягивает из темноты тени двух огромных роялей.

В телефоне — пропущенное сообщение от матери. О том, что я не могу даже оплатить свою квартиру.

Стол. На нём — одинокий хлеб. В холодильнике — ничего. Одежда грязная, пропахшая потом. Кровать не застелена.

Я подошёл к окну и смотрел, как соседи смотрят телевизор. Погода была ясной. Даже через стекло было видно луну. Я смотрел на Луну и видел себя. Одинокий шар, отражающий чужой свет, среди чужого неба.

Нужно постирать. Брюки, рубашка, майка — всё, что у меня есть. Нужно очиститься. Поставил таймер на пятнадцать минут.

Нашёл два яйца. Взял сковороду. Хотя бы из этого можно что-то приготовить. Любил готовить. Особенно спагетти.

Таймер стиралки показывал шесть минут. И вдруг — резкий, дробящий звук. Будто кто-то стучит по стеклу. Осматриваюсь. Не окно. Оказывается, в стиралке. Что-то осталось. Что? Монета? Что-то металлическое?

Или...

БЛЯДЬ. Часы.

Сразу нажал кнопку «Отмена». Осмотрел одежду. Нигде. Блин. Блин. Блин.

Стекло циферблата разбито. Трещина видна, как шрам. Время треснуло.

Звук масла, на котором жарились яйца, шипел, будто что-то раскалывалось внутри. Повсюду в комнате слышались звуки, которых раньше не замечал. Мне чудился даже тикающий звук сломанных часов.

Проснулся. Меня разбудил не будильник, а сон. В нём каждый музыкальный инструмент становился орудием убийства. Обладеть... — подумал я, ещё не открывая глаз, чувствуя липкий пот на спине. Часы стояли на окне, сушились — бледные, неподвижные, будто трупы из моего сна, и из моего рта пахло так же — мертво.

Мы настолько боимся настоящего запаха, что используем парфюм, чтобы казаться красивыми и пахнуть безупречно.

Пришло сообщение от отца. Пишет, что может забрать меня. Забрать. Как вещь. Как неудачный проект.

К себе на работу. Не понимаю, почему они так изменились. Или они всегда были такими, а я не видел? Будто чего-то боятся. Ведь они сами работали с певцами. Ходили на работу, жили — и вдруг бац, всё рухнуло. Я помню с детства: у них была своя мелодия. Их голоса были бесподобны — полная противоположность тому, как они ругаются теперь.

Даже если я пытаюсь им помочь, они обязательно найдут, что я сделал не так. Будут хамить, называть бездельником. Станут звонить другим по телефону и рассказывать, как я не

справился с одной-единственной вещью. Как же, нужно же обязательно выставить это напоказ, эту нашу частную трещину.

Я устал. Иногда хочу просто исчезнуть.

Рояли стояли, как два чёрных гроба. Один — мой. Другой — Томаса, который он оставил «на время» и забыл.

Доел свой кусок хлеба и вчерашнюю яичницу. Теперь нужно прикоснуться к инструментам. Нужно практиковаться. Может, найду что-то. Томас спрашивает, как я придумываю. Я сказал: я не думаю сидя. Они приходят как импульс, как жар в висках.

Сел на кресло. Обязательно выключил уведомления. А то комментарии, эти голоса — они будут критиковать каждый звук. Спасибо им.

Играл. Сперва разыгрываю пальцы, чтобы потом можно было играть уже по-настоящему. Нажимаю педаль. Специально ударяю по клавишам посильнее — пусть соседи слушают. Наверняка уже привыкли.

Пришла очередь к «Лёгкость тяжёлых нот». Под моими пальцами оживала чистая диалектика. Каждая тяжелая, давящая клавиша становилась тезисом, на который тут же отвечал антитезис — легкий, эфирный обертон. Но искомый синтез не рождался в струнах; он пульсировал в зазоре между ними, в той лихорадочной дрожи, с которой я ждал неизбежного краха композиции.

Хорошо начал. Теперь середина — та самая, что легче,

чем надо. Всегда представляю перед собой весы. И они спрашивают: «Выбирай». Я бы мог выбрать, но у меня есть мораль. Так что не могу. Хотя даже если смогу — это будет нечестно.

Мой палец поскользнулся на другую ноту. Легкие начали дышать быстрее. Опять пробую. Не получается. Тот же фрагмент — и опять не то. Будто забыл, что передо мной стоит. Надо ещё. Руки дрожали, словно я держу перфоратор, как мои соседи. Тот момент... сейчас...

И провалился. Снова не то.

СУКА!

Ударил по клавишам кулаками. Бил, бил, бил. Орал. Кажется, разнесу этот чёртов рояль вдребезги. Разнесу и себя вместе с ним.

Завибрировал телефон. Звонил Сильван. Сообщения на экране стали исчезать, словно и они его боялись. Ответил.

— Здравствуй, Люциан! — его голос звучал увереннее, наверное, потому что я не видел его лицо.

— Да. Что надо?

— Слышал? — он помолчал ровно три секунды, выдерживая паузу, как продакт-менеджер перед презентацией. — У тебя появился конкурент! Один автор придумал новый звук на синтезаторе. «И всем — ого-го!» — В этот момент я представил, как рояль передо мной трескается сверху вниз, как лёд на озере.

— Вау. Это так круто. И зачем ты мне об этом говоришь?

— Нужно от тебя... — и я выключил телефон. Разговор умер на полуслове, как недоигранная фраза.

Я всегда любил разговаривать с собой — чтобы контролировать хоть что-то. Но сейчас не мог. Зашёл в ванную, посмотрел в зеркало. И увидел, что трещит уже не рояль.

Моё лицо начало трескаться. Кожа — сухая, как пергамент. Губы в запёкшейся крови. Глаза — красные, сеточкой лопнувших капилляров. Волосы — маслянистые, тяжёлые. Я смотрел на своё отражение и видел не человека, а изношенный, давший трещину инструмент. Который вот-вот развалится.

В этот момент — стук в дверь. Чувствовал, как по спине побежал холодный пот. Подошёл, посмотрел в глазок. Увидел его. Томас. Наконец-то. Открыл дверь — кажется, я даже не запираю её. Или специально оставил открытой. Кто знает.

Он стоял, смотрел на меня, потом — скользнул взглядом по моей спине, словно искал вход в чужую квартиру. Одежда на нём официальная, туфли до болезненного блеска. Волосы — чуть растрёпаны. Он не сказал ничего. Просто вошёл.

Осматривал мою тесную бетонную коробку. Этот чёртов саркофаг. Потом сел на кресло у рояля — того самого, который я только что пытался разнести. И сказал:

— Да... Дела плохи, у тебя. Видел в соцсетях, как кто-то придумал новую мелодию. — Он снова за своё. Открыл телефон, сидя сгорбившись, как верблюд. Сейчас все так сидят — согнувшись над этим четырёхгранным куском света.

У него на руке — браслеты. С бусинами. Когда-то их подарил Валериус.

— Вот. Видишь, как он играет? — поднёс экран к моим глазам.

— Да... Правда, круто выглядит... Извини за рояль. Честно, я не хотел.

— А, это? — махнул он рукой. — Да не волнуйся. Мне кажется, он мне и не нужен. Лучше новую версию этого синтезатора куплю. — Он ткнул пальцем в экран, и его ноготь щёлкнул по стеклу — сухо, как кость.

Внутри у меня кто-то начал стучать молотком. Равномерно. Методично. Забивая гвоздь в крышку гроба.

— Я сегодня видел сон... — начал я, и слова потекли сами, вырываясь, как вода из треснувшей трубы. — Будто я оказался в пустом месте. Только трава и туман. И я искал... что-то. Какой-то смысл. Хотел ухватиться за одну мысль, представить хоть что-то — но в том мире я не мог думать. Я просто искал. А в этом мире... здесь можно думать о чём угодно. Но нет смысла, за который можно было бы ухватиться. Вообще нет.

Он смотрел мне в глаза и слушал. Видно было, как мои слова режут ему уши, как стекло. Он хотел ответить, открыл рот — но в этот момент зазвонил его телефон. Рингтон — отрывок той самой виральной мелодии с синтезатора.

Он ответил. Не мне. Виртуальной реальности. Говорил о чём-то своём, и вдруг его лицо изменилось. Поседело, слов-

но по нему прошлась тень.

— Люциан... — он выдохнул, еле дыша. — Мне нужно идти. Там... моя сестра. Я тебе напишу, ладно?

Он не ждал ответа. Схватил пиджак, выскочил за дверь. Исчез, как последний сигнал связи в тоннеле.

Цифровая версия общения — это то же самое, что и в реальности, просто ты можешь сидя осуждать кого-то или рассказывать в этом цифровом туннеле всё, что никогда не скажешь в лицо. Здесь нет пота, нет крови на клавишах, нет трещин, которые видно. Только свет экрана и эхо, которое никто не слышит по-настоящему. А потом — безмолвие. То же, что и после аплодисментов.

А я стоял. Посреди саркофага своей квартиры. Ждал, когда моя точка тоже настанет. Когда и меня вызовут — или просто сотрут, как ненужное уведомление.

ГЛАВА ШЕСТА «Я»

Меня позвали. Туда, где я, кажется, был нужен. Сперва осмотрел квартиру. Сломанный рояль. Узнал, что можно починить. Или заменить. Ведь перемены что-то значат, да?

У Томаса умерла сестра. Внезапно. Он скинул адрес. Нужно было идти на похороны. Я взял какие-то цветы — еле наскрёб на них — и поехал автобусом. Своей машины нет. Какой там.

Ясная погода. Солнце резало глаза. За окном — деревья, ёлки. Смотрю на ёлки и понимаю: они — стабильны. При любой погоде, в любое время года — одни и те же зелёные иголки. Одна и та же, надёжная, зелёная смерть.

Позвонил родителям. Они согласились. Едут. На своей машине, которую купили на деньги от певческой работы. Они до сих пор не говорят, что случилось тогда, и зачем всё бросили.

Одежду надел чёрную, как положено. Только моя рубашка выделялась — чуть светлее, как старая фотография.

В автобусе было тошно. Люди сидели в экранах. Рассматривали свои тренды. Интересно, какие. Я после того, как удалил соцсети, стал чувствовать себя... свежее. А они просто смотрят. Ничего не получая. Ничего не отдавая. Просто свет в лицо.

Я смотрел на их ноги. У всех — одинаковые кроссовки.

Белые, с синей полосой, один и тот же бренд. Мужчины, женщины, старики — будто в автобусе ехал не набор случайных людей, а партия бракованных манекенов, которых забыли одеть по-разному. Или наоборот — одели правильно. По инструкции.

Позади меня сорокалетние бурно обсуждали что-то, хохотали и ржали буквально:

— Даже после смерти Гегеля... Шопенгауэру... Ха-ха-ха, мало так не осталось!

— Точно!

Хотел что-то сказать, но даже водитель присоединился к ним.

Позвонил Валериусу. Надеюсь, он придёт.

Жарко. В горле — жажда. Не воды — страсти. Остановка моя.

Чуть прошёл пешком до кладбища. В этот момент я не думал ни о чём. Просто пусто. То же самое чувствовал, когда умерла бабушка.

Увидел Томаса. Он был в таком же, как у меня, дешёвом чёрном. Я обнял его. Хотя я никого и не обнимаю — он заслужил. И даже большего. Отдал ему цветы.

— Такой же сон был у меня, Люциан... — сказал он неожиданно, про тот самый сон, о котором я ему говорил.

— И что ты чувствовал?

— Пустоту... — его голос сорвался.

Я видел множество людей — родственников, знакомых

Томаса. Оказывается, у него их много. А что чувствует она сейчас, в этом гробу? Может, смерть — это и есть тот самый выход? Тот самый смысл, который нельзя ухватить мыслью, но можно принять целиком?

Погода изменилась. Стала туманной. Будто сама реальность расплылась, стёрла чёткие границы между нами и тем, что под землёй.

Мы стояли строем. Мужчины. Женщины сидели на складных стульях, теряя слёзы в платки. Сначала говорили родители Томаса. Они просили, чтобы бог простил её за всё, что она делала. И чтобы мы, если есть обиды, — тоже простили.

Мы стояли смирно, как на плацу. Томас был там, в первом ряду. Один. Казалось, ему холодно — руки дрожали. А мне было жарко. Пот стекал по спине, и я чувствовал, как от меня несёт немытой паникой и дешёвым дезодорантом.

Вдруг ко мне подошёл мужчина невысокого роста. Пахло от него ладаном и старым сукном.

— Вы кем будете для неё, сэр? — спросил он, и в его голосе не было любопытства, только протокольная вежливость зрителя в музее смерти.

Я посмотрел на его классический, отглаженный до блеска костюм.

— Я... знакомый. И я должен был...

— Мне кажется, я вас видел... — он прищурился. — В телефоне, что ли...

Я отодвинулся, словно от внезапного сквозняка. Осмот-

релся, ища глазами Валериуса. Его не было. Он не пришёл. И в этот момент я понял, что стою здесь абсолютно чужой. Не для неё. Не для них. Даже для Томаса я сейчас — всего лишь фигура в чёрном, фон для его горя. Я был позван, но я здесь лишний. Как нота, выпавшая из аккорда.

Настала очередь Томаса. Он говорил растрёпанным голосом, еле выговаривая слова. Потом подняли гроб. И унесли, погрузив в чёрный автомобиль. В этот момент — резкий, рвущийся вопль. Женщины, до этого тихо рыдавшие, вдруг закричали в голос, заломили руки, словно по сигналу. Их крик был таким громким и слаженным, что казался частью ритуала.

Мы, мужчины, стояли. Не знали, куда деть руки. Не знали, как нам кричать. Наше горе должно было быть тихим и твёрдым, как земля, которую мы сейчас будем бросать на крышку.

И вдруг среди этих плачущих масок — я увидел знакомое лицо. Или мне показалось. Это была она. Та самая женщина с океанскими глазами. Только теперь — в чёрном. Она не рыдала, как другие. Она смотрела прямо на меня. И по её щеке медленно, против всех законов физики, стекала одна-единственная слеза. В этот миг мне показалось, что все они — и кричащие, и молчащие — на секунду сняли свои траурные маски. А под ними были точно такие же маски, только мокрые. А потом — снова надели. Искренность длилась ровно один взгляд. Её взгляд.

Вдруг кто-то коснулся моего плеча. Обернулся — Валериус. Он пришёл. Облегчение, тёплое и щемящее, разлилось под рёбрами. Я обрадовался так, что даже не заметил, откуда он взялся.

Томас отошёл от толпы вместе с ним. Они о чём-то говорили — тихо, серьёзно. Я не подошёл, боясь нарушить. А она, та самая женщина, двигалась сквозь людей, как нож через масло. И вот уже стоит рядом.

Мы отошли к старой кирпичной стене, в сторонке, где никого не было. Её голубые глаза на фоне чёрного казались ещё глубже, бездоннее. Шея — длинная, изящная. Всё в ней было линией, мелодией, а не шумом. Она смотрела на меня несколько секунд, изучающе, и наконец сказала:

— Привет. Мы виделись один раз, помнишь? — она улыбнулась, и я невольно начал разглядывать её волосы — медные, тугие волны.

— Да. Да, помню.

Она прикусила нижнюю губу, будто сдерживая поток слов.

— Тогда это было... прекрасно. Твоё произведение. Оно меня впечатлило. Я тогда хотела поговорить об этом.

Я удивился. Все знакомые, все эти «нормальные» и «скучные» люди — они ничего не поняли. А она, посторонняя, — услышала. Она единственная.

— В странном месте оказались, да? — спросил я. — Вы её знали? Или Томаса?

— Аа... Да, знала. Она была моей подругой. — Голос её дрогнул, но лишь на микротон.

— Соболезную.

— Спасибо. — Улыбка вернулась, но теперь она была другой — печальной и знающей. — Может, обменяемся номерами? Или вы, как звезда, не делитесь контактами с поклонниками?

Она вдруг спросила неожиданно, перебив наш молчаливый обмен взглядами:

— А у вас, случайно, нет лишнего рояля? Или любого инструмента?

Я опять удивился. Она говорила не о новом синтезаторе, не о цифровом шуме. Она спрашивала о настоящем. О струнном, деревянном, тяжелом.

— Есть... сломанный. Но если починить, думаю, сработает.

— О, как удачно! — её глаза вспыхнули не скорбью, а живым, почти алчным любопытством. — У меня отец умеет чинить инструменты. Он в этом эксперт.

— Да... да, я не против. Могу отдать. Но когда вы хотите его забрать?

— Могу даже сегодня, — ответила она без тени сомнения.

— У вас есть машина? Или...

— Есть. Я позвоню ему, чтобы подготовился. Но сперва я должна увидеть инструмент. Оценить повреждения.

— Хорошо. Я могу... отвезти вас. Показать.

— Ладно, — она кивнула, и её взгляд уже скользнул куда-то за мою спину. — Кажется, там мои подруги. Я должна к ним. А потом... созвонимся.

— Да. Мне тоже... пожалуй, пора.

Мы разошлись. Но в кармане у меня теперь лежал не только её номер, но и странное, щемящее предчувствие, будто я только что подписал что-то, не читая текста.

Иногда я боюсь влюбляться в кого-то. Думаю: могу потерять её. Из-за своих ошибок. Из-за того, какой я. Лучше остаться одному. Чтобы никому не навредить. Просто одному.

На выходе меня перехватил Сильван. Как чёртик из табакерки, выскочивший не вовремя. «Завтра бы пришёл», — подумал я. Поскорее бы домой.

Томас уже уходил. Я нагнал его, когда он садился в такси.

— Куда ты?

— Дела ждут, Люциан. Спасибо, что пришёл. — Он улыбнулся, но улыбка была тонкой, как бумага, и такой же непрочной.

— Извини за рояль... Я могу починить. Уже нашёл мастера.

— Да... нет, всё нормально. Можешь даже оставить себе.

— Как? О чём ты?

— Всё, Люциан, мне нужно. Давай! — Он крикнул таксисту, дверь хлопнулась, и машина рванула с места.

Я не успел ответить. Он просто испарился, как последние

следы нашего общего прошлого.

И в этот момент я понял — нужно позвонить ей. Прямо сейчас. Будто инстинктивно искал точку опоры в растущем вакууме.

Взял телефон. Набрал номер. Неизвестный. И это была она.

— Приду, — коротко сказала она, без приветствий. Через час уже стояла у моей двери. В руках — среднего размера сумка цвета выгоревшей земли. Выглядела так, будто несла не инструменты, а нечто гораздо более важное и личное.

Только тогда я осознал, что не знаю её имени.

— Извини... а как тебя зовут?

— Аа... — она сделала небольшую паузу, будто выбирая, какое имя сейчас надеть. — Каллиопа.

— Прекрасное имя, — вырвалось у меня. И тут же подумал: «Муза эпической поэзии. Или предвестница трагедии?»

Мы шли той же дорогой. Молчали. Мне стало неловко из-за отсутствия машины. Мы стояли на остановке. Ждали. Не знал, о чём с ней говорить.

Туман рассеялся. Воздух был чистым, но я знал — вот-вот придёт автобус, и он снова станет спёртым. Вдали виднелись холмы, длинная улица, люди, бегущие ради здоровья. Одни бегут от смерти на улице, другие — в зале, на беговой дорожке, которая тоже никуда не ведёт.

Она сидела на скамейке. Я стоял, глядя на горы. В нашем городе они и правда изумительные. Верхушки, уже покры-

тые снегом, казались окончательными и безупречными, как аккорд, после которого ставится фермата. Мечтал остаться здесь навсегда. Не в этом городе и не в обществе. В этом «здесь» — где нет ничего, кроме линии горизонта.

На остановку подошла пожилая пара. Ждали тот же автобус. Вдали показался жёлтый прямоугольник. Я сказал ей приготовиться.

Мы сели. В салоне — только мы да та пара. Тишина гудела колёсами.

— Как вы стали критиком? Учились где-то? — спросил я неожиданно.

— Я окончила Академию Валериуса, если знаешь.

— Да! Я прекрасно её знаю. Я тоже там учился.

— Какое совпадение. Будто я знала о вас четыре-пять лет назад, — улыбнулась она, и темп её речи изменился, стал более доверительным.

Я смотрел в окно на ёлки, пытаюсь найти хоть одну не зелёную. Символ вечной жизни стал казаться мне ужасным однообразием.

В салоне стало душно. Одежда прилипла к телу так, будто её можно было содрать вместе с кожей. Пот выступил на лбу. Водитель через рацию бубнил о том, что все должны платить. Его голос был похож на тот новый синтезатор — плоский, цифровой, без обертонов. Я заплатил за нас обоих.

— Извините, сколько остановок до нашего адреса?

— Шесть-семь, — буркнул водитель, не оборачиваясь.

Я вернулся на место. Она сидела в телефоне, с кем-то переписываясь. Когда я сел, она сразу убрала его.

— Как думаешь, почему новый синтезатор стал таким популярным?

— Легче купить. Музыка сгенерирована. Они сами не умеют — вот и покупают готовое. А вы умеете играть. — В этот момент она смотрела на мои руки холодным, оценивающим взглядом хирурга, рассматривающего инструменты. Странно. Сначала она казалась мне критиком, который может погубить карьеру. Теперь же... будто моя личная поклонница, коллекционирующая не автографы, а мои привычки, мои слабости.

— Музыка умрёт, если не будет таких, как ты. Заметил, что сейчас всё стало шаблонным? Главное — чтобы нравилось, а не качество. Вот почему я стала критиком. Даже эта мелодия в автобусе — новая, «интересная». И всем достаточно.

— А почему нам она не интересна?

— Наши уши привыкли к другому. Мы, как другое поколение, должны сохранить настоящую музыку. Я преподавала, когда была моложе. Чтобы люди знали, что это такое.

— Таких, как вы, в Академии не хватает! Вам нужно там работать. Тем более Валериус скоро на пенсию.

Сразу вспомнился его взгляд, низкий голос. Кофе, бесконечные тренировки. Хотелось бы вернуть всё это. Но теперь это возможно лишь как ностальгия — идеализированная и

бесполезная.

— Он ваш учитель, да?

— Да. С детства. Там же учился и Томас. Он талантлив. Ему просто нужно отдохнуть.

— Рада за вас. Вы оба — надежда нашего будущего.

Она говорила, а я слушал. Каждый хочет хоть раз увидеть свет в конце тоннеля. Мне казалось, я только что его увидел. И он был цвета её глаз.

Странно, что мы разговариваем на «ты», потом меняемся на «вы» или наоборот — но нестабильно всё-таки.

Колёса автобуса резко забились о кочку. Все внутренности подпрыгнули, кости зазвенели, как погремушки. Водитель резко остановился посередине моста. Ни остановки, ни людей вокруг. Он вышел, осмотрелся. Его лицо покрылось морщинами беспокойства, форменная куртка помялась.

Пока он ходил вокруг, пожилая женщина спросила тревожно:

— Что-то случилось?

Я обернулся и, стараясь звучать уверенно, сказал:

— Всё хорошо, не беспокойтесь.

И тут она присмотрелась ко мне. Глаза её расширились.

— Ой! Это же он! Посмотри, милый! Это он! Мы же его песни слушаем!

Неужели у меня всё ещё есть слушатели?

— Люциан, — сказал я. — Люциан Камелеон.

— Да! Спасибо вам огромное!

Она обрадовалась так искренне, что на мгновение весь фарс похорон, весь ужас пустоты рассеялся. Я был не призраком, а человеком. И кто-то это видел.

Каллиопа наблюдала за этой сценой с непроницаемым, но заинтересованным выражением, будто ставила мысленную галочку в каком-то своём списке.

Водитель вернулся, повесив голову.

— Извините, пассажиры. Автобус дальше не поедет.

— Как?! Он же сказал, всё будет в порядке! Сам Люциан говорит! — возмутилась старушка.

— К сожалению, выйдите. Ждите другой.

Мы вышли. Автобус стоял, беспомощный, как больное животное. Пожилые люди растерянно оглядывались. Я подошёл к ним.

— Я могу заказать вам такси. Какой адрес?

Адрес оказался действительно далёким. Я вызвал машину через приложение. Оплатил последние деньги. Они благодарили, повторяя моё имя. Я был счастлив это слышать. Этот акт — потратить последнее на незнакомцев — казался единственным честным поступком за последние месяцы.

Каллиопа наблюдала. Не знаю, восхищалась ли она. Или что-то вычисляла.

— Посмотрим, сколько осталось, — пробормотал я, открывая карту на телефоне. Экран светился, как фонарик в тёмном коридоре.

— Всего две улицы. Может, пешком? И в магазин по пути

заглянем.

Она согласилась. Улица была пуста. Так пуста, что казалось, само пространство ищет, чем заполниться. А мы искали ближайший магазин. Странно: только познакомились — и уже идём вместе. Надеюсь, она не против. Когда идёшь один, думаешь о ноуменах — сущностях, скрытых за явлениями. А сейчас передо мной — феномен, живой и дышащий, и я думаю именно о нём. Она, кажется, даже не красилась. Настоящая, без грима. Как факт. Как диагноз.

Лестница. Поднимаемся. Я так же поднимался, когда учился. Или я просто перешагнул через тот этап? Надо было вызвать такси — было бы не так неловко. Молчим. Может, это и к лучшему.

Показались знакомые здания. Она наконец заговорила: — Тот дом, — указала пальцем, и я заметил на её запястье тонкие серебряные браслеты, похожие на схематичное изображение нотного стана.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.